

ЕКАТЕРИНА ЛЯМИНА

Москва vs Nécropolis?

Еще о допечатной рецепции
первого «Философического письма»

На том участке интеллектуального и общественного ландшафта 1830-х годов, который прилегает к чаадаевским «Lettres philosophiques»¹, раскрыто, благодаря долголетним серьезным штудиям², впечатляющее число «культурных слоев». Само их множество ставит перед исследователями вопрос о языке описания, который был бы адекватен феномену *LP/ФП*, и в первую очередь — его полиаспектному генезису и бытованию и не менее причудливой рецепции. Для выработки такого языка небесполезно внимание к тому, как соотносились упомянутые слои, т.е. к фигурам-медиаторам.

Среди лиц, непосредственно причастных к публикации первого из *LP* по-русски: автора, цензора, издателя и типографщика³ — самым молодым был последний. Чаадаеву к осени 1836 года минуло 42, А.В. Болдыреву — 52, Н.И. Надеждину — 32 года (5 октября, на третий день после поступления к московским книготорговцам 15-го номера журнала «Телескоп»), Н.С. Селивановскому⁴ еще не исполнилось тридцати. Широтой круга общения он, впрочем, едва ли уступал кому-либо из названных выше.

Его отец⁵, хозяин частной типографии, одной из старейших⁶ и лучших в России (к концу 1800-х годов она превратилась в крупную книгоиздательско-торговую фирму), и коммерческой библиотеки⁷, довольно рано ввел сына в курс дел, попутно приобщив его своим обширнейшим связям, деловым и дружеским, — в том числе с просвещенным дворянством и духовенством, значительными московскими чиновниками, профессорами, литераторами, критиками, артистами. Представление о разнообразии и насыщенности даже небольшого сегмента этой панорамы дает, к примеру, отзыв А.Я. Булгакова:

Был у меня сейчас Семен Аникеевич Селивановский, мой и [полицеймейстера А.А.] Волкова приятель, человек умный и играющий роль между купцами; он едет в Петербург, я тебе его рекомендую и вероятно дам ему письмо к тебе. Когда будет к тебе,

ЕКАТЕРИНА ЛЯМИНА

обласкай. Он очень хорошо судит о делах и вообще человек сведущий; сын его служит у Фаста [Ф.П. Макиеровского, директора Московского горного правления, ближайшего друга братьев Булгаковых] очень хорошо⁸.

В университетский период (1823–1827) Селивановский-младший, участь на физико-математическом отделении и слушая лекции также на отделениях нравственно-политических наук и словесном⁹, прибавил к этим знакомствам собственные, впоследствии разросшиеся до сопоставимого диапазона. Так, он, развив деловые контакты¹⁰, «через братьев Н.М. и В.М. Рожалиных наладил <...> в 1827–1828 годах хорошие личные отношения с М.П. Погодиным»¹¹; в 1836-м Пушкин, не знавший Селивановского лично, избрал его (явно по надежной рекомендации) «главным комиссионером» по делам «Современника» в Москве; весной 1837 года он предлагал П.В. Киреевскому взять на себя «напечатание [собрания русских] песен»¹².

Дом Селивановских, по-видимому, многие годы был открытым, в том числе для студентов университета¹³. Тех, кто заживал туда регулярно, по мере взросления сына Николая естественным образом становилось больше. Познакомившийся с ним в начале 1831 года Я.М. Неверов отмечал, что у приятеля можно не только «иногда быть на балах», но и находиться в «довольно хорошем обществе молодых людей нового поколения», а также «доставать запрещенные стихи; так, например, он сообщил мне стихи Полежаева»¹⁴.

Вкус к бесцензурной литературе Селивановский перенял у отца, в корреспонденции которого немало упоминаний о редких манускриптах. Так, исполнив одно из поручений своего знакомого генерал-майора А.А. Писарева¹⁵, военного историка и библиофила, — раздобыв для него некий масонский трактат, С.И. Селивановский печется и о собственной коллекции: «Правила М[#], переложенные на российский, если возможно, осмеливаюсь просить приказать списать для меня. Подлинник оных может быть оставлен в библиотеке В[ашего] Превосходительства»¹⁶. Коллекция эта сохранилась не полностью, но и по осколкам¹⁷ понятно, что ее владельца особенно интересовали цензура и книгопечатание, государственное управление и его казусы, в частности, дворцовые перевороты, консервативная мысль первой четверти XIX в. (тексты А.С. Шишкова, Г.Р. Державина и др.), а также Москва: ее судьба в 1812 году (среди документов — превосходная подборка летучих листков-«афишек» Ф.В. Ростопчина), конфликты, слухи, типажи старой столицы.

Когда типография, по кончине отца (в июне 1835 года), целиком перешла к его сыну¹⁸, за год до того женившемуся на Е.А. Гизетти¹⁹, постоянная циркуляция знакомцев вокруг него, видимо, уже обрела форму регулярных «суббот»: зимой, в доме на Большой Дмитровке, и летом, на даче в Симоновой слободе. Их принято именовать «литературно-театральным

салонем Н.С. Селивановского»²⁰ (с акцентом на недворянском, демократическом характере этих собраний). Сюда, впрочем, съезжались также художники, музыканты, врачи, университетская профессура; бывали здесь и дворяне. Подробное описание салона²¹ отклонило бы нас от темы. Заметим лишь, что личный и профессиональный интерес хозяина к интеллектуальной жизни Москвы и рукописным документам, с одной стороны, и масштаб его связей — с другой, позволяют предположить: *LP*, которые Чаадаев в 1831 году «начал <...> распространять среди друзей»²², вскоре попали из его ближайшего круга в очерченный выше. Потенциальных каналов передачи достаточно: *LP* были прочтены, среди прочих знакомцев Чаадаева (и, одновременно, Селивановского), Погодиным, доктором М.Я. Мудровым и, конечно, Надеждиным.

Последний, отвечая на «вопросные пункты» следствия и стремясь, разумеется, дистанцироваться от сочинителя, все-таки показал, что Чаадаев известен ему «лет пять по крайней мере»²³, т.е. как раз с начала 1830-х годов. С Селивановским(и) к тому времени Надеждин был, по-видимому, короток. Во всяком случае, в первой половине тридцатых он некоторое время «занимал квартиру» в их доме²⁴; печатание газеты «Молва» (где Н.С. Селивановский помещал, в частности, свои театральные рецензии и обзоры) и «Телескопа», как и расчеты с подписчиками обоих изданий, находились в их ведении; на «особенную дружбу» Надеждина «с молодым Селивановским» указывал хорошо осведомленный агент III Отделения²⁵. К эдиционным материям мы вернемся чуть позже.

Аргументы, используемые Чаадаевым в *LP*, не сведены в систему, а содержание писем уже современнику, и не одному, казалось «довольно запутанным»²⁶. Это, впрочем, не размывало цельности и «густоты» их эффекта, во многом порождавшегося негативизмом автора в отношении русского прошлого. Для историософской оптики *LP* его нет ни в целом, ни в деталях:

Parcourez de l'œil tous les siècles que nous avons traversés, tout le sol que nous couvrons, vous ne trouverez pas un souvenir attachant, pas un monument vénérable, qui vous parle des temps passés avec puissance, qui vous les retrace d'une manière vivante et pittoresque.

[Пробегите взором все века, нами прожитые, все пространство земли, нами занимаемое, вы не найдете ни одного воспоминания, которое бы вас остановило, ни одного памятника, который бы высказал вам протекшее живо, сильно, картинно]²⁷.

Одним из частных следствий такого подхода является антимосковская заостренность *LP*. Она различима как на внешнем уровне, в символизирующей помете «Néscropolis» под первым письмом и уточнениях к ней — «Sokolniku» (письма третье и четвертое), «Moscou» (седьмое), так и на внутреннем: все события, в том числе связанные с Москвой,

являются небывшими, ибо растворяются в «существовании темном, бесцветном, без силы, без энергии» («une existence terne et sombre, sans vigueur, sans énergie»²⁸).

Острота реакции на построения Чаадаева хорошо известна. Не в последнюю очередь она подхлестывалась, видимо, тем обстоятельством, что вместе с историей отечества в *LP* оказался проигнорирован Карамзин. Дело даже не в отсутствии ссылок на его разыскания (манера *LP* их и не предполагала), но в нерелевантности и категорической абсурдности для Чаадаева того «уважения собственного», к которому Карамзин, следуя своей же максиме²⁹, с успехом приучил россиян. (В переводе *LP* это проступало особенно четко³⁰. Из сферы французского салонного философствования чаадаевские суждения попадали в сферу активно формировавшейся русской прозы, и множественные нестыковки между ними и языковой реальностью приобретали вопиющий характер. Так, для многих современников было очевидно, что отечественные памятники, заговорив благодаря Карамзину, «живо, сильно, картинно» «высказывали <...> протекшее».) Культ Карамзина и «Истории Государства Российского» уже в 1820-е годы устанавливается в аристократических и дворянских, равно и в просвещенных купеческих семействах. Принадлежность конкретного дома к кругу, где историографа в той или иной мере знали лично, еще усиливала атмосферу преклонения перед ним, в которой выросла генерация, появившаяся на свет в середине — второй половине 1800-х.

Случай П.В. Киреевского (род. 1808), автора инвектив «проклятой чаадаевщине» (она «в своем бессмысленном самопоклонении ругается над могилами отцов и силится истребить все великое откровение воспоминаний, чтобы поставить на их месте свою одномоментную премудрость»³¹), в обозначенном аспекте специальных пояснений не требует. Достаточно вспомнить, что он был внучатым племянником В.А. Жуковского. К тому же поколению принадлежал Селивановский-младший. У его отца Карамзин не только трижды, в 1803–1804, 1814 и 1820 годах, выпустил свои многотомные «Сочинения»³² и всерьез собирался печатать «Историю»³³, но и некоторое время жил (в 1813 году, по возвращении в Москву из Нижнего Новгорода). Кроме того, С.И. Селивановский был любителем и знатоком русских древностей. Из арендованной им Сенатской типографии вышло первое издание «Слова о полку Игореве» (1800)³⁴, из его собственной — ряд посвященных этому памятнику работ, а также «Сборник Кириши Данилова» (первым, в 1804 году, и последующими тиснениями), четыре части «Собрания государственных грамот и договоров» (1813–1828), «Краткое обозрение мифологии славян российских» П.М. Строева (1815), «Биографические сведения о князе Димитрии Михайловиче Пожарском» А.Ф. Малиновского (1817) и еще десятки исторических источников и трудов³⁵. Этими приоритетами

руководствовался и его сын; так, в 1836 году он издал составленный Строевым «Ключ к „Истории Государства Российского“...».

Связка «Карамзин — история России — Москва как средоточие исторической памяти», где каждое из звеньев сложным образом опосредуется другими, в рассматриваемый период, видимо, входила в число констант культурного сознания. Не терял значимости, особенно для жителей старой столицы, и связанный с ней сегмент прозы Карамзина, прежде всего «Бедная Лиза» (1792) и «Записка о московских достопамятностях» (1817). Появление *LF*, на наш взгляд, могло активизировать все компоненты названной триады.

В годы циркуляции *LF* и подготовки перевода нескольких из них «Телескоп» напечатал ряд заметок под общим заглавием «Московские окрестности»: «Царицыно» (1832. № 9), «Воскресенск» (1832. № 12), «Лизин пруд и роща Тюфелева» (1833. № 2), «Петровское-Разумовское» (1834. № 1). Эти «статейки»³⁶ по большей части помещались анонимно, однако «род вступления» к ним, «Москва» (1836. № 6), подписан вполне прозрачно: «Н. С—й»³⁷.

Автор сразу обнажает карамзинскую ориентацию своих опытов. Характерным образом выбирается и предмет — *окрестности* (ср. в зачине «Бедной Лизы», предваряющем знаменитую панораму столицы от Симонова монастыря: «Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я...»), и маска рассказчика — *человек прогуливающийся* (ср. там же: «... потому что никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели — куда глаза глядят — по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты» и: «я <...> желал бы очертить картинки Московских летних гуляний, тем более, что бываю на оных по привычке, по охоте, а иногда и по должности»³⁸). Показательно также, что практически все урочища, интересовавшие Селивановского (в задуманном, но не выпущенном отдельном издании должны были появиться очерки о Симоновом монастыре, Горенках и Сокольниках³⁹) в свое время упоминались и в карамзинском «путеводителе» по старой столице. И если появление в «Телескопе» прогулок по Царицыну и Петровскому-Разумовскому вполне предсказуемо, ибо туда ездили часто, то Горенки и Воскресенский монастырь принадлежали к менее популярным маршрутам эпохи, и внимание к ним, вероятно, обусловлено тем, что «Записка о... достопамятностях», перечисляющая не только обязательные для осмотра, но и «экзотические» места, была для Селивановского своего рода канонем, пусть конспективным. Среди описанных им точек — и те, которые в это время воспринимались как безусловно карамзинские: Сергиев (в московском обиходе нередко именовавшийся Лизиным) пруд, близлежащая сосновая роща, Симонов монастырь, где, по словам самого историографа, он «провел столько приятных летних вечеров, смотря на заходящее солнце с высокого берега Москвы-реки»⁴⁰.

Здесь стоит отметить, что отношение Селивановского к тому сложному единству, которое текст «Бедной Лизы» образует с местом действия повести, с одной стороны, и фигурой автора — с другой, носило выражено личный характер. В последние годы XVIII века «шрифтами Селивановского [-старшего]» — т.е. либо им самим, либо близким к нему типографом (возможно, П.П. Бекетовым) — были напечатаны два издания «Лизы»⁴¹. Не позднее 1815 года он приобрел дачу в Старом Симонове (в непосредственной близости от усадьбы Бекетова⁴²), где проводил летние сезоны, а в последние годы жил постоянно и был погребен неподалеку, на монастырском кладбище. В бекетовском саду, впоследствии перешедшем к Селивановским⁴³, уже в начале XIX века находились посвященные героине Карамзина домик-«беседка» и известковый грот.

Повествование в «Московских окрестностях» разворачивается в двух планах. Первый — своеобразие древней столицы и окружающего ее пространства. Прелесть московского локуса в значительной степени возникает из усилия культурной памяти, связывающей рукотворные объекты, исторические лица и события с ландшафтом и приносящей во все это смысл. Скажем,

пристрастие Москвы к Царицыну есть следствие многих впечатлений, переданных нашему поколению стариками, с восторгом вспоминающими и блестящий век Екатерины, и время своей молодости, и время создания Царицына, и наконец бывшего там начальника, Петра Степановича Валуева⁴⁴.

Для поддержания этой памяти читателям сообщается информация об истории усадеб, дворцов, парков и их названий. Впрочем, сделать ее исчерпывающей Селивановский отнюдь не стремился: показательно, что, обратившись, в видах отдельного издания,

с просьбою ко всем старожилам и любителям Москвы о доставлении <...> подробнейших сведений по сему предмету, не пренебрегая ни устных преданий, ни поверий в народе сохранившихся⁴⁵,

он так и не исполнил своего намерения. Куда важнее для него, по-видимому, было, сопрягая картины прошлого и настоящего, осторожно подключая ресурс личных эмоций, обрисовать московские окрестности в элегическом ключе и таким образом запечатлеть их *genii loci*.

Полный воспоминаниями минувшего, в ясные дни осени, нагляделся я на сад Петровского, стоявший пусто, безмолвно, правильно. Облетелые аллеи его просвечивали лучами солнца вечернего и рано задерживались дымкою фантастических сумерок. Пестрые листья угасали, и ночь темная, подымаясь с востока с звездами

крупными, выводила за собой воспоминания. Провести такую ночь вдали от города, в павильоне, окруженном длинными аллеями, наговорившись о минувшем веке, странном, гордом и чувствительном: не значит ли гадать в зеркале прошедшего?⁴⁶

Не последняя роль в этом лирическом картографировании отведена историческим лицам-созидателям. В основу статьи «Воскресенск» положена выразительная параллель — патриарх Никон строил свою биографию так же осознанно, как, возводя Новый Иерусалим (где архитектура, в целом и в деталях, призвана выразить евангельскую историю и смысл христианства), переносил Святую Землю в Россию и тем спиритуализировал окрестный пейзаж:

Мысль создать храм, где вместились бы все места, на коих совершалось великое событие искупления человечества, и представить существующие остатки оных в Палестине — есть мысль души, благоговейщей пред верою, глубоко проникнутой тоскою об отчизне спасения. Так набожное исступление Европы родило некогда Походы Крестовые: так сильная вера инока создала храм Ново-Иерусалимский. <...> Царь Алексей Михайлович, любясь местом и мыслию Никона, все окрестные селения назвал именами священными: Село Скудельниче, Назарет, Ермон, реку Истру — Иорданом⁴⁷.

Описанная интонация очерков, на наш взгляд, сложилась как следствие чтения *LF* (в особенности первого и третьего) и внутреннего сопротивления доминирующему в них безнадежному тону. В противовес пустоте, плоскости, неустойчивости и мертвенности русского прошлого и настоящего, для Чаадаева несомненным, Селивановский и набрасывает пленительные картинки московских окрестностей *sub specie Karamzini*.

При этом рецепция им *LF* несводима к подспудному полемизированию. Селивановский знал иностранные языки, многократно бывал в Европе, где изучал постановку книгопечатного дела и закупал современное оборудование для типографии и словолитни, женился на девушке из итальянской семьи (представители рода Гизетти обосновались в России в начале XVIII века) и уже поэтому наверняка отдавал себе отчет в том, что пессимизм Чаадаева имеет некоторое право на существование. Отсюда второй план его очерков — фиксация энтропии, разрушения, отталкивающей немоты или безобразия большинства русских лиц («Взгляните на картину, писанную по приказу Царскому, где Никон изображен во весь рост, окруженный своими современниками и приверженцами. Умное, твердое лицо: но что за обыкновенные рожи около!»⁴⁸). На этой ноте заканчивается рассказ о Царицыне:

Беседка на скате берега стала складочною таможеню хворосту; птичьи острова опусти; Нептун, высившийся среди разлива вод с камня, пестревшего пурпурными

цветами мака, упал в подводные чертоги свои; острова обволокло тиною; к ним невозможно подъехать и таинственные развалины на одном из них, с переходами, заросшими полынью, сделались теперь действительно недоступными. Вода в прудах много упала, не знаю почему; но думаю, что секрет в плотине, на которую сильно свидетельствуют обсохшие берега у верховья. Начало сада, как начало многих дел на Руси, держится в порядке; но пройдите глубже, и увидите небрежение: гроты обвалились, в беседках выбиты стекла, украшения берестою и мхами ободраны⁴⁹,

на ней же целиком построен самый интимный из текстов цикла, посвященный Лизиному пруду:

...корни их [деревьев] омываются водою, которая и теперь полна по-прежнему, но более ста лет человек не заботится о тени. Только пень дуба остается от зеленой семьи своей, березы иные посохли, иные упали, иные порублены, иные изуродованы усердием писателей и стихов и прозы, и вовсе не интересных имен своих, думавших на белой коре их выдолбить себе воспоминание... Гнездо зелени, взлеянное тихим трудом иноков, брошено на расхищение и людям и времени... Вот настоящее⁵⁰.

В свете обрисованной рецепции *LF* особенно любопытно, что с появлением русского эквивалента первого из них, *ФП*, и подготовкой его к печати совпал выход в свет резюмирующего очерка Селивановского — «Москва». Цензурное разрешение соответствующему номеру «Телескопа» было дано 17 апреля 1836 года; примерно тогда же Надеждин получил от Чаадаева перевод его сочинения, о резкости которого, в сравнении с оригиналом, уже говорилось. По-видимому, это и подстегнуло новый виток размышлений Селивановского. На сей раз их предваряло издательское примечание, анонсирующее пафос текста и заодно отсылающее к опубликованным ранее частям цикла:

Сочинитель <...> москвич в душе, поставил себе целью ознакомить соотечественников с древнею столицею, матерью городов русских, сердцем народа русского, в очерках, наполненных патриотическими воспоминаниями, которыми кипит Москва⁵¹.

Автор «Московских окрестностей» снова прибегает к карамзинскому приему — рисует панораму, но взятую уже не с конкретной точки, а с высоты историсофского полета. Куда более прямо, чем в остальных очерках, заявлено здесь несогласие не только с идеями *ФП* (об оторванности России от общего движения европейской цивилизации, о трагизме ее участи, о ее предназначении, об отсутствии у нее истории и т.д.), но и с его аналитической отвлеченностью и бесстрастным до оскорбительности тоном. Селивановский, судя по всему, с трудом удержался от личностей и не назвал тех «иных», которые пренебрегают старой

столицей, персонифицирующей страну. Замечательно, однако, что в своем опровержении он точно воспроизводит последовательность рассуждений Чаадаева, не будучи, видимо, в силах преодолеть их риторическое обаяние.

Кто знает: быть может, ей [Москве] завещано быть восточным полюсом Европы, в противоположность блестящему западному, но уже переполненному, истощенному жизнью! <...> Вглядитесь: уже толща земли русской сдерживает своей гранитной твердостью физическое могущество Запада, и если вступит с ним в состязание нравственное, то, конечно, в Москве мысль великого народа достигнет силы творческой. <...> Золотые мечты! Назовите их болтовнею московскою, но не всякой променяет их на расчетливость ума, на его ледяную, гранитную бесчувственность...

<...> Думая о ней [Москве], я задумался, глядя на нее, загляделся <...> и только холодный смех образумил москвича-мечтателя... Глядь — кругом, передо мной стоит Москва каменная, безжизненная, словно оцепенелая, как огромное кладбище, крестами усеянное, мохом поросшее — ...

<...> Напрасно стали бы искать объяснения усиления Москвы в систематических теориях образования городов западных. Там был другой мир, иное общество, законы которых неприложимы к духу русскому, своенравному, своеобразному, выражающемуся во всем по своему, который, действуя вопреки теории, заменяет знание понятливостью, умение сметливостью, расчет удачею, ловит на лету случаи, таит хитрость в унижении, водится с другом и недругом, все стерпит, во всем откажет себе в пору трудную, все возьмет при случае и все потеряет, разгулявшись слишком весело; который, как будто созданный для опровержения всякой системы, то ленивый, то деятельный, не дорожит ничем и всем пользуется <...> Не нам, по крайней мере, этим духом взлелеянным, строить город Москву по силлогизмам историческим <...>

В облаках басни скрывается начало города нашего, родины нашей славы, этой Москвы, на которую *иные* глядят с пренебрежением <...> И, даже без веры в историю, можно ли бессмысленно кружиться на этом пространстве, где каждая горсть земли есть прах предшественника, каждая зелень упитана костями покойников, каждое здание есть надгробие былого, в свою очередь некогда развивавшегося? <...> Мысль о русской старине не сливается ли с Москвою невольной? Не презирайте ж старины Москвы, с сказками целой Руси сливающейся; берегите ее как темное воспоминание, которое ведет к ясному будущему!..

Почти беспримесная эмоция (фактический слой в этом очерке сведен к минимуму), озлобленная против холодности чаадаевских умозаключений и уничтожающего «Nécropolis», выплескивается в нанизывании кумулятивных групп («на светлом, неровном раздолье столпились палаты, церкви, хаты, сады, башни с светлыми кровлями, улицы по косогорам разбежались с толпами горожан досужих, с вереницами столичных жителей»), в нагромождении метафор, рисующих столицу как

живое существо («сердце, бьющееся жизнью народной», «пук нервов, узлом сошедшихся от всех оконечностей отечества; мозг тела огромного, прикрытый каменным черепом; пульс, по биению которого узнается сила кровообращения <...> феникс, из пепла возродившийся, оживясь стремлением соков целой России, стекавшейся к сердцу любимому», «паук многодеятельный», «дерево огромное» и проч. и проч.). Селивановский не без задора бравирует констатированными Чаадаевым ужасами отечественной истории: так, в пассаже об основании столицы он упоминает «весело пролитую кровь».

Тем не менее, описанное выше «биполярное» восприятие *LF* пробивается даже сквозь полемический запал. И в этом очерке, пусть бегло и в полувопросительной форме, констатируется энтропия («Ужели след минувшего истреблен совсем едкой пылью современного?»), а в одном из «параллельных» исторических экскурсов явственно резонируют унылые строки Чаадаева:

в ту пору, как величайшие события Европы шумно распадались в безобразной обширности империи Карловой, потом волнуясь слились в одну изумительную мысль, взмахнули знамя крестоносное, и толпы рыцарей с радостным криком водружали крест на стенах Иерусалима ветхозаветного — в ту пору когда все жило и действовало на юге и западе, Север и Восток оставались чуждыми делу общему, лесами поросшие, снегом осыпанные.

Помещение «Москвы» в «Телескопе» сравнительно незадолго до *ФП* (если бы график выхода журнала соблюдался, то 15-й номер вышел бы в августе) косвенно указывает на то, что Надеждин не только в общих чертах представлял себе возможную реакцию на него, но и стремился загодя обнародовать возражения, а также, возможно, инспирировал их создание.

Эмоциональный накал последнего очерка не помешал Селивановскому внести свою лепту в публикацию *ФП*. Хорошо известно, что номера, составившие последнюю, 34-ю, часть «Телескопа», печатались поочередно в типографиях Н. Степанова (14 и 16) и Селивановского (13 и 15). До того за все пять с половиною лет издания журнала у Селивановского вышла одна-единственная книжка — вторая за 1833 год (кстати, здесь помещен очерк «Лизин пруд...»). По-видимому, для Надеждина были важны сразу несколько моментов. Во-первых, его короткость с владельцем предприятия позволяла избавиться от лишних глаз и стадий типографского процесса (Селивановскому, знакомому со всеми его сторонами, наверняка нетрудно было и самому набрать нужный текст), чтобы до последнего момента продолжать работу над переводом, как того требовал Чаадаев⁵². Интересно, что *errata* к *ФП* — не столько коррекционного, сколько стилистического характера — изящно вверстаны

в свободное место на последней полосе номера, вплотную к цензурному разрешению. Во-вторых, загрузив работой несколько типографий одновременно (что диктовалось необходимостью бороться с катастрофическим отставанием и *параллельно* выдавать номера за два года, 1836-й и 1835-й, а также «Молву»), он мог бы, в случае, если бы атмосфера начала накаляться, оправдывать себя неразберихой в препровождении материалов цензору (для чтения и потом для выдачи билета) и в типографию — так, чтобы отделаться простым запрещением журнала. Оно, кстати, избавило бы Надеждина от выполнения обязательств перед подписчиками — подготовки и издания оставшихся восьми номеров за 1836 год. Так что трудно отделаться от мысли, что он, издатель весьма опытный, для того и выбрал взрывоопасный текст⁵³.

На желание утрировать этот лихорадочный ритм указывают даты цензурных разрешений последних номеров «Телескопа»: № 14–13 сентября, № 15–29-го, № 16–30-го⁵⁴. А на понимание Надеждиным того, что ситуация и в самом деле пришла к развязке, хотя и в куда более опасном варианте, — его печатное обращение к читателям журнала. В исследовательской литературе оно не слишком известно. На двух отдельных листках⁵⁵ Надеждин в очередной раз извиняется за неисправность: «Издатель глубоко чувствует свою вину, замедлив так долго выдачей Телескопа за прошлый год. <...> За отъездом его в чужие края, в начале прошлого года⁵⁶, последовала непредвиденная остановка, совершенно не зависевшая от редакции, которой вверено было продолжение журнала». Далее он пишет, что его, по крайней мере, нельзя упрекнуть в недостатке деятельности, и констатирует: «Теперь совесть его [издателя] очищена. Годовое издание совершенно выполняет все материальные условия программы. Относительно выбора содержания, смело можно сказать, что он делан был с усердием. — Сверх того, время еще впереди. Посвятив себя труду, издатель надеется загладить прошедшее будущею неутомимою деятельностью. Man kann, was mann will!»⁵⁷

Ниже стоит: *20 октября, 1836. Москва*. Однако уже 12 октября Надеждин писал Белинскому в Премухино, что находится «в большом страхе», что «в Москве ужасный гвалт», что «подлецы-наблюдатели затрубили» о ФП «как о неслыханном преступлении», а «Андросов бился об заклад, что к 20 октября „Телескоп“ будет запрещен, я посажен в крепость, а цензор отставлен»⁵⁸. В.П. Андросов ошибся ненамного: император запретил журнал 22 октября. Перед нами, таким образом, слабо завуалированный прощальный поклон. Об этом говорит и указание на обороте второго из приплетенных листков: «„Телескопа“ и „Молвы“ за текущий 1836 год вышло шестнадцать книжек», и горделиво-обреченная интонация, и многозначительный афоризм в финале. При царившем к тому моменту «гвалте» ни один типографщик, как бы хорошо он ни знал Надеждина, не взялся бы печатать эти листочки даже с визой

цензора. И все же они увидели свет. Сколько можно судить по верстке, интерлиньяжу и шрифту — прославленному «миттелю» Селивановских — благодаря их типографии, на углу Большой Дмитровки и Столешникова переулка.

примечания

- ¹ Далее французский оригинал будем именовать *LP*, русский перевод — *ФП*.
- ² Обзор исследовательской традиции по основным проблемам чаадаеведения см. в изд.: *Чаадаев П.Я. Избранные труды / Сост., вст. ст. и комм. М.Б. Велижева. М., 2010. Далее в сносках — сокращенно: Чаадаев 2010 (с указанием страницы).*
- ³ Вопрос о переводчике *LP* остается дискуссионным.
- ⁴ Сведения и литература о нем собраны: *Лямина Е.Э. Селивановский Николай Семенович // Русские писатели, 1800–1917: Биографический словарь. М., 2007. Т. 5. С. 545–547.*
- ⁵ О нем см., среди прочего: *Гурьянов В.П. Радищев и Селивановский // От «Слова о Полку Игореве» до «Тихого Дона»: Сб. статей к 90-летию Н.К. Пиксанова. Л., 1969. С. 297–304; Кононович С. Типографщик Селивановский // Книга: Исследования и материалы. М., 1972. Сб. 23. С. 100–123; Блюм А.В. Селивановский Семен Иоанникиевич // Книга: Энциклопедия. М., 1999. С. 584 (и по указателю).*
- ⁶ Ср.: «Типография, словолитня, стереотипия и гальванопластика, Семена Селивановского в Москве, с 1793 года» ([М.], б.г.). Это издание — рекламный каталог русских, французских, немецких, польских, греческих литер, а также линеек, «парентезисов», «цветков», «углов», виньет и прочих графических элементов набора, поставлявшихся в десятки российских типографий. На аналогичном издании 1834 г. сохранился инскрипт младшего из владельцев предприятия: «Павлу Лукьяновичу Яковлеву, любителю искусства типографического, от Селивановского» (экземпляр Музея книги РГБ). О различных периодах существования фирмы см.: *Кононович С.С. Указ. соч. С. 100–105.*
- ⁷ «... собрал и открыл я в конце 1807 года Библиотеку, состоящую из книг всякого рода на Российском языке в разных годах печатанных, заключающую более двенадцати тысяч томов, — которою донныне знатным количеством книг умножив, предлагаю всем любителям словесности и знаний, в Москве живущим, пользоваться» (*Селивановский С. Известие // Каталог библиотеки, открытой при книжной лавке С. Селивановского в Москве. М., 1809. С. 1–2; изложены условия: «за чтение целый год 18 рублей. За полгода 12 рублей. За месяц 2 рубли 50 коп. ЕСТЬЛИ же кто из подписавшихся пожелает сверх книг <...> пользоваться еще и чтением Московских и Санктпетербургских Ведомостей, также и всех периодических изданий в России печатающихся, тот, сверх показанной цены, прибавляет: На целый год 5 руб. На полгода 3 руб. На месяц 50 коп.»; сообщен адрес: «на Ильинке, против нового Гостиного двора»). Библиотека, по всей видимости, погибла в 1812 г.*
- ⁸ РА. 1901. Кн. III. С. 539 (письмо к К.Я. Булгакову, 25 сентября 1829 г.).
- ⁹ Внушительный перечень взятых им дополнительно дисциплин см.: *Оксман Ю.Г. К истории работы Белинского в «Телескопе» // Ученые записки Саратовского гос. университета. Саратов, 1952. Вып. XXXI. С. 251. В прошении о принятии в университет Селивановский сообщал: ранее «обучался в доме родителя моего» (ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 120. № 436. Л. 1); кто именно давал ему уроки, пока установить не удалось.*
- ¹⁰ См., например, счет по изданию журнала «Московский вестник» (20 сентября 1827 г.), выставленный С.И. Селивановским Погдину: ОР РГБ. Ф. 231/III. Карт. 30. № 12.
- ¹¹ *Оксман Ю.Г. Указ. соч. С. 260.*
- ¹² *Письма П.В. Киреевского к Н.М. Языкову / Ред., вст. ст. и комм. М.К. Азадовского. Л., 1935. С. 74.*
- ¹³ См., например: *Жихарев С.П. Записки современника. М., 1989. Т. 2. С. 170.*
- ¹⁴ Запись в дневнике Неверова (от 26 января 1831 г.) цит. по: *Насонкина Л.И. Московский университет после восстания декабристов. М., 1972. С. 269.*
- ¹⁵ Селивановский выпустил составленный Писаревым сборник «Военные письма и замечания, наиболее относящиеся

- к незабвенному 1812 г. и последующим...» (М., 1817. Ч. 1–2).
- 16 ОР РГБ. Ф. 226. Оп. 6. № 27. Л. 7 об. (письмо от 9 апреля 1818 г.).
- 17 См.: РГАДА. Ф. 345. Собрание было передано (видимо, в последней четверти XIX столетия) в архив вдовой Н.С. Селивановского, который, разумеется, унаследовал его в полном виде: «Много любопытных бумаг и документов досталось мне от батюшки, человека неученого, но природно-умного и образованного самоучкою» (Записки Н.С. Селивановского // Библиографические записки. 1858. № 17. С. 518). Характеристику архива см. также: Кононович С.С. Указ. соч. С. 108.
- 18 Ср.: «Московский первой гильдии купец Семен Иоанниеевич Селивановский волею Божией 7-го числа сего июня скончался, оставя по себе единственного сына Николая, и при жизни покойного управлявшего делами его, который, принимая на себя все обязательства родителя, покорнейше просит <...> обращаться к нему» (Московские ведомости. 1835. № 48. С. 2409).
- 19 Дочери Антонио (Антон Адамович) Гизетти, московского купца третьей гильдии, биржевого маклера, впоследствии получившего дворянство.
- 20 Так называется раздел процитированной выше статьи Ю.Г. Оксмана.
- 21 О салоне и доме Н.С. Селивановского в 1830–1840-е гг. см.: Из воспоминаний Н.В. Беклемишева о Мочалове и Белинском / Публ. М. Барановской // Лит. наследство. М., 1950. Т. 56. Кн. 2. С. 274–275; Галахов А.Д. Записки человека, М., 1999 (по указателю); Инсарский В.А. Записки. СПб., 1898. Ч. 1. С. 9–10.
- 22 Велижев М.Б. Петр Яковлевич Чаадаев // Чаадаев 2010. С. 9.
- 23 Чаадаев 2010. С. 605. Напомним, что уже в № 11 «Телескопа» за 1832 г. (ценз. разрешение — 4 августа) был помещен единственный, кроме ФП, чаадаевский опус, напечатанный при его жизни: подборка «Нечто из переписки NN (с Французского)», включающая так называемую статью «О зодчестве» и россыпь афоризмов.
- 24 См.: Галахов А.Д. Указ. соч. С. 142, 219.
- 25 Записка Н.А. Кашинцева (от 2 декабря 1836 г.) цит. по: Нечаева В.С. В.Г. Белинский: Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве», 1829–1836. М., 1954. С. 384.
- 26 Записки Д.Н. Свербеева. (1799–1826). М., 1899. Т. II. С. 394.
- 27 Чаадаев 2010. С. 59 (франц. оригинал), 41 (перевод «Телескопа»).
- 28 Там же.
- 29 Из статьи «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств» (1802).
- 30 Об эффектах, возникавших при переводе LP, см.: Велижев М.Б. Указ. соч. С. 15–16; здесь же суммирована основная литература вопроса.
- 31 Письма П.В. Киреевского к Н.М. Языкову. С. 43 (письмо от 17 июля 1833 г.).
- 32 А также издание «Разные повести, переведенные Н. Карамзиным» (М., 1816).
- 33 См. его письмо 1816 г. с обсуждением деталей предполагаемого тиснения (Библиографические записки. 1858. № 19. С. 587; это и восемнадцать других писем историографа сохранялись в семействе как реликвия и были предоставлены для публикации вдовой Н.С. Селивановского).
- 34 О его вкладе в это издание см. статью Д.М. Буланина в «Энциклопедии „Слова о полку Игореве“» (СПб., 1995. Т. 4. С. 280–281).
- 35 По подсчетам С.С. Кононович — более 70.
- 36 Определение из авторской сноски (Телескоп. 1832. № 9. С. 138).
- 37 На принадлежность «Московских окрестностей» Селивановскому указывает, помимо криптонима, такая черта его идиостиля, как инверсии (ср. процитированный выше инскрипт). По ним его тексты опознавались современниками: «... странная конструкция и прилагательные после существительных заставляют меня подозревать, что это Селивановский» (соображения Станкевича в связи со статьей о московской премьере «Ревизора» [Молва. 1836. № 9. С. 260–264] — Переписка Н.В. Станкевича. М., 1914. С. 414; письмо к Белинскому от 11 августа 1836 г.).
- 38 Телескоп. 1832. № 9. С. 138. Под «должностью» подразумевается, судя по всему, ведение раздела «Московские записки» в «Молве». Знакомый Селивановского вспоминал, что в 1834 г. тот «ежедневно таскал» его «по всевозможным клубам и театрам» (Инсарский В.А. Указ. соч. С. 9).
- 39 Телескоп. 1834. № 1. С. 40 (примеч. издателя). Перечисленные тексты, насколько нам известно, в свет не вышли и, скорее всего, не были написаны. Зато Селивановский в 1843 г. напечатал составленное В.В. Пассеком «Историческое описание московского первоклассного общежительного Симонова монастыря». Заметим

- здесь же: очерк «Лизин пруд...» посвящен «Н. И. П.», т.е. Н.Д. Иванчину-Писареву, убежденному карамзинисту, что дополнительно указывает на связи Селивановского с московским кругом приверженцев Карамзина.
- ⁴⁰ «Записка о московских достопамятностях» цит. по изд.: *Карамзин Н.М.* Записки старого московского жителя. М., 1988. С. 318.
- ⁴¹ См.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII в. М., 1964. Т. 2. № 2814, 2815.
- ⁴² Об этом соседстве и дружбе типографов см., в частности: *Кетов А.П.* Отрывок из воспоминаний Бекетова // Шукинский сборник. М., 1902. Вып. 2. С. 455.
- ⁴³ См.: *Чусова М.* Бекетовы и Селивановские в Симоновой слободе // Московский журнал. 2000. № 11. С. 56.
- ⁴⁴ Телескоп. 1832. № 9. С. 138.
- ⁴⁵ Телескоп. 1834. № 1. С. 39–40.
- ⁴⁶ Там же. С. 47.
- ⁴⁷ Телескоп. 1832. № 12. С. 539, 549.
- ⁴⁸ Там же. С. 549.
- ⁴⁹ Телескоп. 1832. № 9. С. 143.
- ⁵⁰ Телескоп. 1833. № 2. С. 256.
- ⁵¹ Телескоп. 1836. № 6. С. 155.
- ⁵² Ср. в показаниях Надеждина: «...когда статья была уже отпечатана, но книжка журнала не вся еще была готова, сочинитель пожелал видеть чистые листы, которые и были к нему посланы. На этих листах он сделал сам перемены, помещенные в опечатках при конце той книжке, где статья напечатана» (цит. по: Чаадаев 2010. С. 605).
- ⁵³ Что не исключает частичного совпадения его взглядов с позицией Чаадаева. Об этом см.: *Манн Ю.В.* Надеждин Николай Иванович // Русские писатели, 1800–1917: Биографический словарь. М., 1999. Т. 4. С. 211.
- ⁵⁴ 9 октября, примерно через неделю после выхода номера с ФП, Надеждин предпринял еще один «затемняющий» шаг: выслал в положенные петербургские инстанции (Публичную библиотеку и Главное управление цензуры), не 14-й и 15-й номер, а два 14-х (см.: Чаадаев 2010. С. 883).
- ⁵⁵ В коллекции Гос. публичной исторической библиотеки они приплетены к последней (30-й) части «Телескопа» за 1835 г., выпущенной с большим опозданием (цензурное разрешение ей — 22 августа 1836-го).
- ⁵⁶ Уловка самооправдания: Надеждин набавляет себе полгода в отсутствие, хотя на самом деле он уехал за границу в середине 1835-го.
- ⁵⁷ Сохраняем орфографию Надеждина в усеченной цитате из сочинения И.К. Лафатера «Физиогномические фрагменты, способствующие познанию людей и любви к людям» («Physiognomische Fragmente zur Beforderung der Menschenkenntniss und Menschenliebe», 1775–1778). В оригинале: «Man kann, was man will, und man will, was man kann» («Мы можем то, что хотим, и хотим то, что можем»). Цитата, приписанная, впрочем, графу Акселю Оксеншерну, служила девизом запрещенному в апреле 1834 г. журналу «Московский телеграф» (за указание благодарим А.С. Бодрову). Это еще один резон видеть в словах Надеждина прощание, а кроме того — «салют Николаю Полево-му», унылую убежденность в том, что и «телескопское» дело, по уже обкатанной модели, неумолимо приобретает политическую окраску.
- ⁵⁸ Цит. по: *Оксман Ю.* Переписка Белинского: Критико-библиографический обзор // Лит. наследство. М., 1950. Т. 56. Кн. 2. С. 232.